

ТАМ,
ГДЕ НИКТО
НЕ СЛЫШИТ

СБОРНИК РАССКАЗОВ

НИКИТА САННИКОВ

СОДЕРЖИТ
НЕЦЕНЗУРНУЮ
БРАНЬ

18+

Никита Санников

Там, где никто не слышит

<https://litres.ru/74035251>

SelfPub; 2026

Аннотация

Мрачный сборник городского хоррора и психологических триллеров о людях, оставшихся один на один с тишиной, виной, болью, жестокостью и тем, что невозможно объяснить. Здесь бытовая реальность трескается без предупреждения, привычные места становятся ловушками, а самые страшные чудовища слишком часто оказываются человеческими.

Содержание

Тридцать первый день	5
День первый	12
День второй	14
День третий	19
День четвертый	22
День одиннадцатый	26
День двенадцатый	27
День тринадцатый	28
День пятнадцатый	29
День семнадцатый	31
День двадцать первый	34
День двадцать третий	37
День двадцать пятый	39
День двадцать седьмой	40
День двадцать девятый	42
День тридцатый	44
День тридцать первый	46
Попутчица	49
Бетон	67
Погреб	78
Пролог	78
Часть первая	80
Часть вторая	86

Никита Санников

Там, где никто не слышит

Тридцать первый день

Это случилось в первой половине дня, когда октябрь уже окончательно перегрыз горло осени. Воздух был плотный, сырой и холодный, как мокрая шерсть. У соседской пятиэтажки обнаружился труп — внезапный, нелепый, чужой на фоне привычного ландшафта окраины. Зрелище, прямо скажем, не из тех, что выветриваются за чашкой кофе.

Небо висело низко и тяжело. Не просто серое — свинцовое, глухое, без единого просвета, будто его отлили из старого металла и прибили над районом намертво. Голые деревья тянули к нему суставчатые ветви, словно просили о пощаде.

Мусорные контейнеры у дорожки были набиты пакетами и картоном. Из щелей сочилась мутная жижа, оставляя на асфальте липкие следы. Чуть поодаль стояла убитая детская площадка. Карусели давно облезли, металл качелей хранил в себе мороз всех прошлых зим, а под ногами чавкала серая каша из грязи, окурков и прелых листьев.

Это был типичный район на отшибе — один из тех архитектурных аппендиксов, откуда до ближайшего метро минут сорок на дребезжащем автобусе. Даже в солнечный день

здесь можно было схватить такую дозу тоски, что и убежденный оптимист задумался бы о петле. А сегодня и подавно.

Я стоял под щербатым бетонным козырьком четвертого подъезда родного сорок девятого дома. Пальцы привычно нащупали пачку «Собрания» с фиолетовой кнопкой — мой единственный легальный способ выпросить у организма немного серотонина. Щелчок зажигалки прозвучал в воздухе неестественно громко, почти как выстрел.

Настроение, вопреки хмари и ломоте в теле, было странно приподнятым. На календаре наконец-то стояла суббота — мой выстраданный, почти священный выходной. После пяти смен на складе стройматериалов, где я по двенадцать часов таскал цемент, гипсокартон и коробки с плиткой, тело просило не отдыха даже — пощады.

Спина ныла так, будто в нее загнали арматуру. Ноги гудели, как провода под током. Иммуитет сдался еще в середине недели: сухой кашель засел в груди и не отпускал даже после двух кружек кипятка.

Аптека с нормальными таблетками сейчас была роскошью. Денег после аванса хватало ровно на аренду моей однушки с легендарным бабушкиным ремонтом, выцветшими обоями в цветочек и вечно подтекающим краном, плюс на скромный прожиточный минимум из ближайших дискаунтеров, где полы подозрительно липкие, а кассиры смотрят так, будто лично ты украл у них молодость.

Но сегодня мне было плевать. Впереди ждали диван, оде-

яло и новый сезон сериала, который я берег как небольшой праздник.

Я выпустил первую струю дыма, ожидая привычного утреннего фона: как сосед снизу заводит свою убитую «девятку», как какая-нибудь мать орет на ребенка у песочницы, как где-то вдалеке захлебывается лаем дворовый пес.

Но не услышал ничего.

Тишина была полной.

Не спокойной и не уютной — именно полной. Она не просто стояла вокруг. Она давила на барабанные перепонки, заползала под куртку, трогала затылок ледяными пальцами.

Я замер. Прислушался. Ни шагов, ни мотора, ни хлопка двери, ни гула трассы. Будто город одним движением выдернули из розетки.

Я сделал последнюю затяжку, чувствуя, как едкий дым режет легкие, и щелчком отправил окурок в серую жижу у крыльца. Уголек еще пару секунд тлел в грязи — маленькое, отчаянное оранжевое пятно.

И именно на нем вдруг застрял мой взгляд.

В ту же секунду меня накрыло. Будто только сейчас я осознал происходящее.

Тошнотворное чувство, словно кто-то невидимый провел ледяной ладонью вдоль позвоночника. По коже прокатилась волна мурашек. Воздух стал плотнее, тяжелее. Вокруг была уже не просто тишина — вакуум. Звонящая пустота, в которой звук моего собственного дыхания казался оглушитель-

ным.

Я медленно повернул голову, вглядываясь в знакомый до боли двор: кирпичные пятиэтажки, ряды ржавых гаражей, облупленные лавочки у подъездов. Никого. Ни одной старухи у подъезда, ни одной мамы с коляской, ни одного мужика на балконе в майке и трусах. Детская площадка пустовала. Балконы, обычно заваленные хламом и жизнью, выглядели как темные пустые ниши.

Я прислушался еще раз — уже не к двору, а к городу за спиной дома. Где стук трамвайных колес? Где вой шин с шоссе? Где сирена, где чей-то мат, где хоть что-то?

Ничего.

Только тогда я увидел это.

Справа, у третьего подъезда сорок седьмого дома, за низким декоративным заборчиком лежал темный неподвижный силуэт. От одной только этой формы внутри поднялась брезгливость — и еще что-то похуже, первобытное.

Но любопытство уже перехватило управление. То самое тупое человеческое любопытство, из-за которого герои в триллерах всегда идут не туда.

Я двинулся вперед. Медленно. Ноги налились свинцом. Грязь под ботинками чавкала так громко, будто я нарушал какой-то запрет.

Шаг.

Еще один.

Уже с нескольких метров стало ясно: это тело. Но мозг до

последнего строил защиту.

Может, пьяный.

Может, упал и спит.

Может, манекен.

Может, просто показалось.

Подойдя почти вплотную, я остановился.

На сырой земле лицом вниз лежал человек. Неподвижно. Без всякого намека на дыхание. Его поза была слишком ломкой, слишком неправильной. Так живые не лежат.

Я лихорадочно завертел головой, надеясь увидеть хоть кого-нибудь еще: хоть одно лицо в окне, хоть движение штор, хоть случайного прохожего.

Ничего.

Только мертвые окна и голые ветки.

— Эй! — крикнул я, и голос сорвался. — Вы живы?

Ответа не было.

Подойти и перевернуть его я не решился. Рука сама полезла в карман за телефоном. Экран вспыхнул в этой серой пустоте почти ослепительно.

Следующие десять минут я провел в каком-то лихорадочном трансе, снова и снова набирая 112. Каждый звонок сопровождался одним длинным гудком, а потом — серией издевательски коротких. Связь как будто была, но на том конце уже никого не существовало.

Я глянул на время: 10:23.

И только тогда заметил их.

У покосившейся лавочки, в двух шагах от трупа, лежали два предмета: дешевый кожаный бумажник и потертый ежедневник.

Я сделал еще одну попытку дозвониться.

Тот же мертвый гудок.

Очередной окурок полетел в грязь. На секунду, почти стыдно, мелькнула мысль: вдруг в бумажнике деньги. Но тут же утонула под общим ужасом происходящего.

Я тяжело опустился на лавочку.

Старая доска жалобно, пронзительно скрипнула. Звук ударил по ушам так резко, что я вздрогнул. Он разлетелся по двору, как камень по стеклу, — и ничего не изменилось.

Никто не выглянул.

Я сидел, скорчившись, и смотрел на труп своей перекошенной от страха рожей. Дыхание вырывалось со свистом, кашель снова напомнил о себе коротким, болезненным спазмом.

Сначала я поднял бумажник.

Дешевая кожа, потертая по сгибам. Внутри — пустота. Ни карт, ни прав, ни чеков, ни фотографий. Только на дне перекатывались две монеты и скопившиеся за годы крошки, пыль и табачная труха. Нелепый, бесполезный кусок мертвой кожи.

Потом я взял ежедневник.

Он выглядел не просто старым — антисовременным, будто его купили лет двадцать назад и таскали с собой все эти

годы. Твердый переплет, разбухшие от влаги страницы, побитые углы. По весу он напоминал не записную книжку, а маленькую книгу. И в руках ощущался неприятно, пугающе тяжелым.

От него пахло сырой бумагой, старой пылью и чем-то сладковатым, гнилым. Но дело было не в запахе. От него шло другое — почти осязаемое. Нечто чужое. Дневник одновременно тянул меня к себе и вызывал животное желание отбросить его, вскочить и бежать обратно в квартиру, под одеяло, в любое знакомое тепло.

Третья за утро сигарета сама оказалась у меня во рту. Зажигалка щелкнула. Дым повис в неподвижном воздухе сизой лентой.

Я открыл первую страницу.

И в тот же миг словно выпал из времени.

День первый

Первым, что вернуло меня в реальность, был холод.

Не обычный — подвальный, осенний, сквозняковый, а металлический, безличный холод, который пропитал спину, затылок и самую кость.

Я открыл глаза и увидел, что лежу на полу пустого вагона метро. Свет под потолком мигал, как больной глаз, сопровождая это мерзким тонким писком. Состав стоял неподвижно в черном тоннеле.

В висках бил пульс. Но хуже всего было с зубом. В правой челюсти жило что-то отдельное от меня — тупое, горячее, яростное. Казалось, будто в зуб вкручивают раскаленный саморез.

Я поднес пальцы к лицу и нащупал под носом сухую корку крови.

Я не помнил ничего.

Кто я.

Как оказался здесь.

Какой сегодня день.

И главное — почему в вагоне никого нет.

Потом снова провал.

Следующий обрывок памяти — уже станция. Пустая. Без дежурных, без пассажиров, без объявлений, без скрипа подшв. Только эхо моих шагов по плитке и собственное ды-

хание.

Я побрел к выходу, цепляясь взглядом за рекламу на стенах, за карту метро, за мусор у урны — за что угодно, лишь бы доказать себе, что мир еще настоящий.

На улице в лицо ударил резкий ветер. Пыль скрипела на зубах. Город казался чужим, брошенным, будто его оставили наспех, не выключив свет в некоторых окнах.

Я шел долго, почти на автопилоте, пока знакомые дома вдруг не сложились в понятную картинку: мой район.

Последним отчетливым моментом стал звук ключа в замке.

Металл о металл.

Слаще этого звука я не слышал ничего.

Разуться сил уже не было. Я просто рухнул на кровать в одежде и провалился в темноту.

День второй

Проснулся я только к полудню.

Сознание поднималось медленно, будто всплывало сквозь густую серую кашу. Голова гудела. Зуб ныл уже не вспышками, а ровной, изматывающей болью.

Я долго лежал, уставившись в потолок, и ждал обычных звуков утра: хлопка соседской двери, шума воды в трубах, шагов в коридоре.

Ничего.

Только тишина.

Я кое-как добрел до ванной, плеснул в лицо ледяной водой и поднял глаза к зеркалу.

Отражение заставило меня вздрогнуть. На меня смотрел какой-то осунувшийся, невыспавшийся мужик с воспаленными глазами и серой кожей.

Я тщательно смыл кровь под носом, оскалился, проверяя зубы, и раздраженно взъерошил темные волосы.

— Неужели так нажрался? — пробормотал я.

Я честно пытался вспомнить хоть что-нибудь про вчера. Бар. Людей. Музыку. Любую мелочь. Но в голове была стерильная пустота.

В комнате я машинально позвал:

— Алиса, какая сегодня погода?

Колонка помолчала и сухо отозвалась:

— Отсутствует подключение к интернету.

Я перезагрузил роутер. Выдернул шнур. Подождал. Лампочки мигали мертвым красным.

Раздражение закипало быстро. Я схватил телефон, набрал техподдержку провайдера. В ответ — короткая пауза и серия частых гудков.

— Ну конечно, — сказал я в пустоту.

Обычно в это время мой сосед за стеной уже начинал свою субботнюю симфонию перфоратором. Но сейчас квартира была накрыта противоестественной, вакуумной тишиной. Она сочилась из розеток, из щелей под дверью, от окна.

Я осторожно отодвинул штору.

Во дворе не было никого.

Ни одной идущей фигуры. Ни одной выезжающей машины. Ни одной коляски, ни одного пакета в руках, ни даже пьяного мужика, который с утра тащится за догоном. Мир за стеклом выглядел как декорация, откуда внезапно исчезла съемочная группа.

В животе заурчало.

Холодильник ответил уныло: полупрокисшее молоко, сковорода с остатками вчерашней картошки и один засохший кусок колбасы. Негусто.

Я жил один. Родители давно перебрались в область. После третьего подряд предательства с девушками я как-то перестал даже пытаться строить новые отношения. Слишком свежо было воспоминание о том, как тебя в очередной раз

меняют на первого встречного урода с уверенным голосом.

Голод оказался сильнее тревоги.

Я натянул ветровку, влез в кроссовки и выскочил в подъезд. Уже у соседской двери зачем-то замер и приложил к ней ухо. Ни звука. Такая плотная тишина, будто за дверью вообще нет пространства.

Я тряхнул головой и побежал вниз.

За углом дома меня будто ударили в грудь.

Людей не было не просто во дворе — их не было вообще.

На дороге между домами стояло месиво из машин. Одни уткнулись мордами в столбы, другие перегородили проезд, третьи замерли посреди поворота. Внутри — пусто. Ни водителей, ни пассажиров, ни движения, ни сигнала, ни мигающей аварийки.

Я схватился рукой за щеку — боль в зубе вспыхнула так резко, что на секунду прояснила голову.

— Что за чертовщина... — сказал я вслух.

Голос прозвучал плоско, мертво.

— Надо меньше пить, родной. Надо гораздо меньше пить.

Уставившись под ноги, чтобы не видеть этой пустой улицы, я быстрым шагом дошел до магазина. Автоматические двери открылись с противным скрежетом, будто сопротивлялись.

Я нырнул внутрь.

Под ярким мертвым светом супермаркета стало почему-то еще страшнее.

Я на автомате сгреб с полок все подряд: сэндвичи в пластике, лапшу, консервы, хлеб, воду. Дотащил это до кассы — и только там поднял глаза.

За стойкой никого не было.

В зале никого не было.

Во всем магазине — ни одного человека. Ни звука холодильников, ни гудения кондиционеров, ни музыки с радио. Даже вентиляция молчала.

Я вдавил кнопку вызова администратора. Раз. Второй. Третий.

Ничего.

— Есть кто?! — крикнул я. — Эй! Мне, вообще-то, товар надо оплатить!

Эхо вернуло мой голос обратно — исковерканный и злой.

И тут зуб рванул так, что пальцы разжались сами собой. Пакеты рухнули на пол. Банка покатилась между стеллажами. Я присел на корточки посреди прохода и обхватил голову руками.

Хотелось выть — от боли, от пустоты, от невозможности понять, что происходит.

Я так и сделал.

Никто не пришел.

Из магазина я выбежал почти сразу. Холод ударил в лицо, но не помог. В голове билось только одно — найти хоть кого-то.

— Есть кто-нибудь?! Помогите! Эй!

Я орал, пока не сорвал горло. Мне казалось, что если кричать достаточно долго, реальность не выдержит и вернет людей обратно.

Ничего.

Тогда я побежал.

По дворам. По дороге. Через арки. Мимо застывших машин. Я прижимался лицом к окнам первых этажей. За стеклом — чужой быт, оставленный секунду назад: чашка на столе, детский рюкзак у тумбы, включенный без звука телевизор.

В одном окне на диване лежал плед, будто кто-то только что встал. В другом на подоконнике дымилась свеча.

Но людей не было нигде.

Я дергал двери подъездов, колотил по ним кулаками, оставляя на металле мокрые следы. Заглядывал в подвал, в гаражи, в арки, в мусорные камеры.

Пусто.

Через час безумной беготни я рухнул на колени посреди дороги. Легкие горели. Сердце било так, что мир двоился. Меня трясло. Слезы и пот текли по лицу. Я уткнулся лбом в асфальт и завыл.

Когда сил не осталось совсем, я просто отключился.

День третий

Меня разбудил холод.

Не утренний, не осенний — какой-то космический, бесчеловечный. Я открыл глаза и сначала решил, что ослеп: вокруг стояла непроглядная темень. Только спустя несколько секунд понял, что лежу там же — на дороге, среди пустых машин.

Пальцы онемели. Ноги дрожали. Я вскочил и почти бегом рванул обратно в магазин.

Голод победил все.

Я ворвался внутрь, разрывал упаковки руками, жрал прямо стоя у полок, запивал ледяным соком, даже не думая о кассе, правилах и деньгах. Все это умерло вместе с людьми.

Пока я ел, взгляд то и дело срывался в проходы между стеллажами. Казалось, там кто-то стоит. Казалось, кто-то дышит.

Но всякий раз там была только тень.

Мозг судорожно искал объяснение.

— Так. Спокойно, — бормотал я себе с набитым ртом. — Какая-нибудь химическая авария. Газ. Амнезия — побочка. Всех вывезли. Эвакуация. Про меня забыли. Ну не зомби же, черт...

Я хрипло, почти истерически рассмеялся.

— И не инопланетяне. Хотя...

Я заставил себя заткнуться.

Эвакуация. Вот единственная версия, за которую еще можно было ухватиться. Значит, где-то там, за городом, есть жизнь. Военные. Радио. Свет. Люди. Надо выбираться.

Я побежал домой собирать вещи.

Во дворе, уже у самого крыльца, я вдруг остановился. Не потому что услышал что-то. Наоборот.

Я почувствовал.

Чей-то взгляд.

Тяжелый. Пристальный. Неподвижный.

Я резко обернулся.

Пустой двор. Темные окна. Ни одного шевеления.

От этого стало еще хуже. Я суетливо выудил сигарету, прикурил, глубоко затянулся. Никотин ударил по пустому желудку, в глазах потемнело, но внутри хотя бы перестало так бешено дрожать.

Дома я собирался, как на пожар. Рюкзак старый, единственный. В него летело все подряд: документы, смена белья, свитер, зарядка от телефона, нож, фонарик, немного налички, найденной в книге на полке. Зачем зарядка в мертвом мире — мозг отказывался воспринимать очевидное.

С транспортом было туго. Водить я не умел и не собирался учиться даже в мирные времена. Самокаты стояли вдоль тротуаров бесполезным железом. В метро обратно лезть не хотелось вообще.

Оставалось одно — идти пешком и надеяться найти вело-

сипед.

По дороге я снова зашел в магазин и набил карманы тушенкой, сухарями, водой и блоком сигарет. Это был мой запас, мой антидепрессант, моя религия.

Начинало светать. Я шел по пустой магистрали к окраине, и над горизонтом проступало бледное, неуверенное зарево. На минуту мне даже показалось, что все можно пережить. Что за КАДом, за лесополосой, за заправкой, за следующим поворотом обязательно будут люди.

Эта надежда была такой жалкой, что мне хотелось защитить ее руками.

День четвертый

За городом дорога извивалась среди пожухлой травы. Ветер ровно гудел в ушах. На обочине показалось придорожное кафе с выцветшей вывеской, а возле него — несколько пластиковых столиков.

И за одним из них кто-то сидел.

Две фигуры.

Сначала мне показалось, что сердце просто остановилось, а потом рвануло так, что я едва не задохнулся.

Люди.

Живые.

Я сорвался с места и побежал к ним, почти не чувствуя ног. Хотел добежать, схватить за плечи, услышать хоть одно слово — любое, даже мат, лишь бы человеческий голос.

Силуэты были еще далеко, но я ясно увидел: головы обеих фигур медленно повернулись в мою сторону.

И в ту же секунду в воздухе возник звук.

Сначала тихий, едва различимый. Потом громче. Это был хор. Церковный, многоголосый, густой, как дым. Не пение даже — литания. Она шла сразу отовсюду: из земли, из пустых окон кафе, из серого неба.

Я замедлился.

Еще несколько шагов — и наконец разглядел их.

Женщина и девочка.

Они сидели совершенно неподвижно. Их лица были чем-то средним между оскалом и улыбкой, растянутой неестественно широко. А вместо глаз — пустота. Черные, глубокие провалы, в которых не отражалось ничего.

Они смотрели прямо на меня.

И продолжали безмолвно петь этим жутким хором.

Я заорал.

И проснулся.

Сначала я испытал облегчение — короткое, жалкое, почти детское. А потом понял, что лежу на полу своей квартиры.

Снова.

Как будто не было никакой дороги. Ни поля. Ни кафе. Ни попытки выбраться.

Я вскочил и рванул в туалет, но не успел. Меня вывернуло прямо в коридоре. На линолеум выплеснулась густая, почти черная жидкость с запахом ржавого металла и гнили.

Я закричал — уже не от испуга, а от осознания.

Я заперт.

Следующие пять дней превратились в повторяющийся кошмар. Я пытался выйти из города пешком, ехал на найденном велосипеде, обходил район через промзону, лез через заборы, шел вдоль трассы, по рельсам, через гаражи, дворы, пустые стоянки. И каждый раз все заканчивалось одинаково: утром следующего дня я просыпался в своей квартире.

Город не выпускал.

Однажды, на шестой день, я оказался в чужой квартире на

первом этаже. Дверь была открыта. На кухне стоял чайник, на столе — тарелка с засохшими макаронами. На холодильнике висел детский рисунок: дом, солнце, три человечка за руки.

Я долго смотрел на него, потом сел за стол и почему-то включил чайник, хотя электричество уже едва держалось. Пока вода грелась, я нашел на подоконнике семейную фотографию: женщина, лысоватый мужчина, девочка лет семи. Они улыбались так, как улыбаются люди, которые еще не знают, что исчезнут.

Я попробовал записать голосовое сообщение матери.

Телефон, конечно, был без связи.

Но я все равно нажал запись и сказал:

— Мам, если ты это когда-нибудь услышишь... я не знаю, что случилось. У нас тут никого нет. Вообще никого. Я сначала думал, что это какой-то дурной прикол, потом — что авария, эвакуация, сон. А теперь... теперь не знаю. Прости, что редко звонил. И батю прости за меня тоже. Скажи ему... да ничего не говори.

На этом месте голос сломался.

Я удалил запись и ушел.

На девятый и десятый день я сдался. Нашел водку и пил до такого тупого, вязкого состояния, чтобы ноги забыли, как ходить, а мозг — как бояться.

Наступило черное смирение.

Если я и правда последний человек в этом мире, то поче-

му бы не дожить остаток дней как угодно?

День одиннадцатый

Пятое по счету окно на первом этаже разлетелось вдребезги.

Я хохотал так, что болел живот. Осколки звенели под подошвами. В руке было теплое нефilterованное пиво. В рюкзаке за спиной постукивали друг о друга еще бутылки — боезапас на вечер.

Мне было плевать, чья это квартира. Кто здесь пил чай. Кто смотрел сериалы. Кто спорил ночами на кухне. В этом мире больше не осталось хозяев.

Следующая бутылка полетела в стекло.

Глухой удар.

Взрыв.

Осколки брызнули во все стороны.

Я орал от восторга. Тишина, которая раньше давила и калечила, теперь наконец-то трескалась под моими руками.

Позже я залез в брошенный автобус, прошел в самый конец салона и осквернил его с торжественностью дикаря. Это был мой личный манифест. Мое мелкое, жалкое, дикое торжество над мертвым порядком.

День двенадцатый

На стоянке у шиномонтажа я нашел старую «Газель». В замке торчали ключи. В баке, как ни странно, плескалось топливо.

Первые десять минут я глох, дергался, путал передачи и матерился. А потом вошел во вкус.

Весь день я учился водить машину, тараня припаркованные вдоль улицы иномарки. Металл складывался с хрустом. Стекла летели градом. Сигналы некоторых машин вдруг истерично оживали и орали на всю улицу, пока не захлебывались.

От этого мне делалось хорошо. Не весело даже — правильно.

Потом я добрался до отделения банка.

Стальной лом, найденный в дворницкой, отлично справился со стеклянными перегородками. Я ходил по пустому залу, выбивал ящики, швырял пачки пятитысячных в воздух и смотрел, как они кружатся и медленно оседают на пол.

Деньги стали мусором.

Я топтал их, рвал, смеялся, выл. В этот вечер я впервые почувствовал, что тишина уже не хозяйка здесь.

Я сам стал шумом.

День тринадцатый

Я стоял на крыше своей девятиэтажки, опасно балансируя на парапете, и мочился вниз, стараясь попасть в люк кабриолета, брошенного у подъезда. Ветер бил в лицо. Под ногами проваливалась пустота.

И во всем этом было что-то почти счастливое — не потому, что хорошо, а потому, что никто не смотрит.

Потом я пошел в салон техники.

Вышиб дверь уличной урной и вошел внутрь, как к себе. Там было мое маленькое царство разрушения. Смартфоны, на которые кто-то копил полгода, разлетались под металлической стойкой в стеклянную кашу. Экраны плазм лопались с сочным сухим треском. Ноутбуки хрустели под подошвами, как сухие ветки.

Я вырывал провода, швырял мониторы друг в друга, вскрывал системники и вытаскивал из них платы, будто кишки.

Через час салон напоминал техногенную свалку.

Я сидел посреди нее, задыхаясь от пыли и смеха, и чувствовал себя единственным живым богом в мертвом цифровом храме.

День пятнадцатый

В этот раз я проснулся не дома.

Холодный линолеум чужой прихожей пах цементной пылью и старой краской. Сначала я даже не понял, где нахожусь, а потом узнал квартиру соседа — того самого, что годами насиловал мне мозг своим перфоратором.

Я когда-то мечтал, чтобы он хотя бы на день заткнулся.

Ну вот.

Мечта сбылась.

Квартира выглядела как склад ремонта: мешки со смесью, рулоны линолеума, ведра, профиль, инструменты. И среди всего этого — его гордость, тяжелая профессиональная дрель со сверлом по бетону.

Когда я взял ее в руки, внутри возникло странное чувство власти. Почти интимной.

— Ну что, сосед, — сказал я в пустоту. — Получай. Теперь я тебе тут все почию.

Я жал на курок и сверлил все подряд.

Стены.

Кухонные фасады.

Дверцы шкафов.

Телевизор в коробке.

Бетон. ДСП. Пластик.

Сверло рвало материал с бешеным визгом, оставляя урод-

ливые, рваные дыры. Пыль стояла столбом. Руки немели от вибрации. Белая крошка забивалась в нос, в рот, под веки.

К вечеру квартира стала похожа на декорацию после арт-обстрела. Все было продырявлено, искалечено, истыкано.

Я стоял среди этого месива, пьяный, белый от пыли, с никотиновой горечью во рту, и думал только об одном: теперь его тишина стала абсолютной.

День семнадцатый

Скука.

Не обычная, бытовая, когда нечем заняться, а чудовищная, звенящая, почти физическая. Она высасывала из меня мысли. Я лежал на полу среди пустых бутылок, курил кальян, украденный из табачной лавки, и смотрел в потолок.

И вдруг мне захотелось женщины.

Живой, теплой, настоящей — хоть какой-нибудь.

Мысль была настолько нелепой, что я сначала расхохотался, а потом встал и пошел в ванную приводить себя в порядок.

Почистил зубы до крови в деснах, пригладил волосы, натянул лучший костюм из разоренного бутика и, глядя на свое отражение, объявил:

— Сегодня у нас особый вечер, дорогой. Мы идем на свидание.

В супермаркете я выбрал самую дорогую бутылку игристого.

— Сдачи не надо, — бросил я воображаемому кассиру.

В парфюмерном отделе устроил полноценный спектакль:

— Молодой человек, вам безусловно подойдет вот этот аромат. Бергамот, кожа и немного древесины.

— Вы считаете?

— Уверяю вас. Женщины будут ваши.

— Тогда беру.

В аптеке прихватил виагру и тут же запил таблетку теплым вином.

А потом зашел в магазин для взрослых.

Среди латекса, розовых коробок и искусственных улыбок на упаковках я нашел ее. Надувную куклу. Почти идеальную в своем безмолвии. Пока я надувал ее, у меня чуть не лопнули легкие. Но когда закончил, почему-то почувствовал нежность.

Вечер мы провели на крыше.

Я заранее натаскал туда меховые куртки из бутика, старые ящики и сухие ветки. В центре крыши ревел костер. Ветер разносил искры. Оранжевый свет прыгал по нашим телам, делая ее виниловую кожу почти живой.

Я прижимал ее к себе, говорил всякую чушь — о море, о будущем, о том, что нам повезло остаться вдвоем. Я видел в нарисованных глазах то, чего никогда не получал от настоящих женщин: абсолютное, пустое, безопасное внимание.

Потом все случилось быстро, механически и жалко. Не секс даже — попытка убедить себя, что я еще человек, а не говорящий мусор в пустом городе.

Когда все закончилось, я лежал на спине, курил и смотрел в небо.

И тут налетел резкий порыв ветра.

Кукла вздрогнула, перевернулась, неловко вспорхнула — и ее понесло к краю крыши. Я вскочил слишком поздно. Она

уже сорвалась вниз.

— Нет! — заорал я. — Вернись!

Я подбежал к парапету и перегнулся.

Внизу, у подножия дома, в густой тени у подъезда, кто-то стоял.

Темная фигура.

Неподвижная. Высокая. Совершенно черная на фоне двора.

Она смотрела прямо на меня.

Ледяной ужас протрезвил моментально. Я будто впервые за все эти дни почувствовал себя по-настоящему голым.

Фигура медленно развернулась и пошла прочь, растворяясь в сумерках.

— Стойте! — взвизгнул я. — Стойте! Подождите! Я сейчас спущусь!

Мой голос ударился о пустые стены и вернулся обратно.

А силуэт уже исчез.

В ту ночь я понял две вещи.

Я больше не буду пить.

И я здесь не один.

С этого момента начались самые мрачные дни.

День двадцать первый

Четыре дня я пролежал пластом.

Организм, отравленный дешевым алкоголем, мстил мне яростно и обстоятельно. Меня тошнило. Трясло. Желудок сводило судорогами от одной мысли о еде. Я вливал в себя воду литрами, чувствуя, как она тяжело оседает внутри, смывая остатки безумного веселья.

На улице впервые за долгое время пошел дождь. Мелкий, почти пыльный. Он не очищал город — только делал грязь темнее и живее. В воздухе пахло мокрым бетоном и железом.

Я сварил себе крепкий, черный как деготь кофе и вышел под козырек подъезда. Нужно было почувствовать хоть какое-то пространство, иначе стены квартиры раздавили бы меня.

Я стоял, грея ладони о чашку, смотрел на серый воздух и вдруг увидел ее.

Фигуру.

Теперь уже не ночью. Не в сумерках. При дневном, равнодушном свете.

Она стояла в конце улицы — далеко, но отчетливо. Неподвижная, как столб. Я вытянул вперед дрожащую руку и закрыл ее большим пальцем.

Убирал палец — она снова была на месте.

— Кто ты?! — закричал я. — Что тебе нужно?! Подойди!

Поговори со мной! Я не опасен!

Никакого ответа.

Фигура не двигалась, не махала, не приближалась. А потом плавно качнулась и скрылась за углом дома, будто специально дразнила меня.

Я стоял, сжимая чашку так, что пальцы побелели.

И тут у самого затылка раздался шепот:

— Беги.

Не в голове. Не в воображении.

Прямо за спиной.

Я дернулся так резко, что кофе выплеснулся на джинсы. Сердце ударило о ребра, как пойманная птица. Я обернулся.

Сзади была только кирпичная стена, облезлая дверь и домофон.

Никого.

Я грязно выругался, чтобы хоть как-то нарушить этот ледяной ужас, приложил ключ к домофону и ввалился в подъезд.

Подняться наверх я не успел.

С верхних этажей кто-то начал спускаться.

Тяжело.

Громко.

Будто падая, ударяясь о ступени всем телом.

Бум.

Бум.

Бум.

Перила дрожали.

Это был не человек.

Я развернулся и пулей вылетел обратно под дождь.

Бежал, не разбирая дороги, слыша за спиной плеск шагов, все ближе, все быстрее. Грязь липла к кроссовкам. Легкие горели. Я споткнулся о корень, рухнул в лужу и зажмурился, ожидая, что меня сейчас схватят.

Но не схватили.

Прошла секунда.

Потом еще.

Потом целая вечность.

Я открыл глаза.

Надо мной было только серое небо.

День двадцать третий

Сначала появился гул.

Я думал, это трансформатор где-то далеко или ветер в вентиляции. Но к вечеру звук оформился в шепот.

Сотни голосов.

Они шли из вытяжки, из щелей в плинтусах, из труб в ванной, из приоткрытого шкафа, из унитаза, из бачка.

Я забаррикадировался в ванной, сел на пол, обхватил колени и начал вслух перечислять ассортимент товаров со склада, где работал:

— Арматура двенадцатая. Бетон М300. Гипсокартон влагостойкий. Саморезы по металлу. Уголок наружный. Клей плиточный. Шпатлевка финишная...

Я кричал это до хрипа, лишь бы не слышать их.

Но голоса становились громче.

Они шептали мои детские страхи. Слова, которые я когда-то бросал людям и о которых потом жалел. Имена тех, кого подвел. Они знали меня слишком хорошо.

В какой-то момент я не выдержал и начал биться головой о кафель.

Раз.

Еще.

Еще.

По переносице потекла кровь. Белая раковина окрасилась

в розовый. И вместе с болью пришла короткая ясность. Голоса на секунду затихли.

А потом кто-то тихо, насмешливо хихикнул в вентиляции.

И я понял: это не у меня в голове.

Это и есть город.

День двадцать пятый

Они больше не уходили.

Шум поселился рядом со мной насовсем. Иногда он стоял на грани слышимости, как далекий рой. Иногда наваливался целиком — так плотно, будто мне в голову вставили работающий двигатель. Я бил себя кулаками по вискам, чтобы хоть немного сбить его ритм.

Фигура стала смелее.

Теперь она подходила близко. Иногда я видел ее сквозь мутное стекло окна: на детской площадке, возле песочницы, у гаражей. Лица у нее по-прежнему не было. Точнее, оно как будто было, но стерто, засвечено, словно старую фотографию передержали в проявителе.

Я швырял в нее кухонные ножи, пепельницы, бутылки. Орал, обещал разорвать, молил уйти.

Она просто стояла и смотрела.

Алкоголь больше не работал. Желудок выворачивало от одного запаха спирта.

Я начал молиться, хотя никогда не верил в бога.

Стоял на коленях в пыли, шептал все, что помнил с детства, а потом уже просто умолял хоть кого-нибудь добить меня быстро. Разморозить голову. Остановить сердце. Выключить этот мир.

Никто не отвечал.

День двадцать седьмой

Сегодня пространство сломалось.

Я открыл дверь квартиры, чтобы выйти на лестницу, — и оказался в собственной комнате, только вошел в нее со стороны балкона. Попробовал еще раз. И еще. Каждый раз квартира собиралась заново, будто кто-то перекладывал ее в голове гиганта.

Коридор подъезда вытянулся в бесконечную кишку. Двери тянулись на километры, уходя в дрожащую перспективу. Лампочки мигали в такт моему пульсу.

Я бился в стены, матерился, пробовал ползти на четвереньках, закрывал глаза и открывал снова.

В конце концов выбрался через окно первого этажа, разбив стекло стулом.

Но и двор изменился.

Деревья стали выше. Ветки теперь напоминали костлявые пальцы. Песочница будто просела глубже. Лавочка у подъезда стояла под другим углом, словно ее кто-то ночью передвинул, пока я не смотрел.

На одной из лавок лежало чужое пальто — старое, в пятнах и прожженных дырах. Я натянул его на себя, потому что мерз. И тут же почувствовал, как под тканью по коже будто поползли насекомые. Не видимые — только ощущаемые.

Фигура стояла в десяти метрах.

Теперь я слышал ее дыхание. Тяжелое, свистящее, как у человека с пробитым легким. От нее тянуло формалином и старой бумагой.

Я зажмурился и начал считать до ста.

На девяносто девяти чья-то сухая, холодная ладонь коснулась моего затылка.

Глаза я так и не открыл.

Я просто закричал, пока не потерял сознание.

День двадцать девятый

Мир больше не пытался выглядеть нормальным.

Небо сгнило. Вместо серого над городом висел густой бордово-красный свод, похожий на запекшуюся кровь. Солнца не было, но все вокруг освещалось больным, фосфорическим светом.

С веток деревьев свисали останки животных. Куски шкур, внутренности, хвосты. Они раскачивались на ветру, а темные капли лениво падали в грязь, на крыши машин, на детские горки.

Я вошел в магазин — и меня едва не вывернуло на пороге. Изнутри шла плотная волна вони: месячное мясо, тухлый жир, сладковатая гниль. На полках, где раньше стояли консервы и крупы, теперь теснились стеклянные банки. Внутри плавали человеческие уши, губы, пальцы, зубы, обрывки кожи.

Мой больной зуб продолжал свою симфонию агонии. Я попробовал сказать вслух хоть что-то — и два соседних зуба просто выпали мне в ладонь. Я выплюнул их вместе с кровью и даже не удивился.

В воздухе гремел тот самый церковный хор. Тысячи глоток славили что-то, чего я не мог понять.

Фигура теперь не пряталась.

Она стояла прямо за моей спиной. Я не оборачивался, но

чувствовал ее каждым нервом. Ее дыхание холодило затылок. От нее пахло тем же: формалином, старой бумагой, сыростью морга и библиотеки.

Я хотел только тишины.

Настоящей.

Мертвой.

Без хора. Без шепота. Без этого мира.

Я побежал.

Не разбирая дороги, влетел в первый попавшийся подъезд, поднялся на пятый этаж, ворвался в квартиру с распахнутой дверью. Закрылся на все засовы, задернул шторы, отрезая себя от кровавого света, и забился в угол.

На пыльном полу, среди старых газет и бутылок, лежал пустой ежедневник.

Я взял его и начал писать.

Потому что ничего другого уже не оставалось.

День тридцатый

Я писал весь день.

С того момента, как бордовый свет просочился сквозь щели в шторах, до глубоких, чернильных сумерек. Этот дневник стал моим последним якорем. Последней вещью, которая еще подчинялась мне: бумага терпела. Чернила слушались. Строки выстраивались одна за другой, и пока я писал, мир хотя бы на время делался плоским и безопасным.

Шторы я так и не открыл.

Я больше не хотел видеть, во что превратился мой двор, мой район, мой город. Мозг, кажется, уже просто не справлялся с картинкой. Защищался коротким замыканием.

Рука немела. Пальцы сводило. Почерк становился рваным, ломаным, как кардиограмма умирающего. Но я продолжал. Я должен был оставить след. Зафиксировать этот распад прежде, чем исчезну сам.

Кажется, у меня получилось.

Завтра я покончу с собой.

Это решение пришло не в истерике, а с пугающим спокойствием. Чистым, холодным, почти деловым.

Я так и не понял, почему из миллионов людей остался именно я. За что. Или ради чего. Наказание ли это за все мелкие дрянные поступки, из которых состоит человек? Или, наоборот, извращенная форма избранности?

Судить об этом не мне.

Я всего лишь песчинка, застрявшая в шестернях сломанной вселенной.

Мое время вышло.

Санкт-Петербург.

30 октября 2029 года.

Ренат.

День тридцать первый

Я проглотил этот дневник на одном дыхании, будто пил не слова, а густой, горький яд.

Когда последняя строка кончилась, я медленно закрыл ежедневник. Тяжелая обложка хлопнула сухо, как крышка гроба. Я положил его рядом с собой на скамью и долго сидел неподвижно, уставившись на свои грязные кроссовки.

Мыслей почти не было.

Только шок.

Сигарета сама собой оказалась в пальцах. Я прикурил, но не почувствовал вкуса. На глазах выступили горячие, злые слезы. Я не сразу понял, кого именно оплакиваю — человека по имени Ренат из 2029 года или уже самого себя.

И вдруг передо мной что-то дернулось.

Я вскинул голову.

Труп смотрел прямо на меня.

Не мертвым стеклянным взглядом, а осмысленно, страшно, с такой запредельной, сжатой до предела болью, что у меня перехватило дыхание. Серое, обветренное лицо дрогнуло. Губы растянулись в жуткой, невозможной улыбке. И он произнес — хрипло, почти ласково, будто предупреждал в последний раз:

— Беги.

Я сорвался с места.

Побежал, не чувствуя ног. Через двор. Между машинами. Мимо гаражей, деревьев, подъездов, мусорных баков. Под этим свинцовым небом, сквозь холод, кашель и ужас. Я падал, сдирал ладони о шершавый асфальт, поднимался и бежал дальше. Я уже плакал в голос, захлебываясь.

В голове билось только два вопроса.

Почему его лицо было точно таким же, как мое?

И почему его тоже звали Ренат?

Я долетел до станции метро, перемахнул через турникет и бросился вниз по застывшему эскалатору. Ступени под ногами уходили вглубь, как лестница в шахту. На середине я зацепился носком, потерял равновесие и покатился вниз, пересчитывая телом каждый металлический зубец.

Удар о платформу выбил из меня воздух. Из носа хлынула кровь. Большой зуб взвыл с такой силой, что мир на секунду почернел.

А потом из глубины тоннеля донесся грохот.

Тяжелый.

Подземный.

Нарастающий.

Поезд.

Он вынырнул из черноты и, скрежеща, остановился у платформы. Двери распахнулись сами.

В вагоне никого не было.

Я ввалился внутрь, упал на пол между сиденьями и увидел, как над дверью дрожит мертвый белый свет.

Поезд тронулся.

За окном была только чернота тоннеля.

Куда он вез меня, я уже не знал. Да и сил спрашивать больше не осталось. Сознание медленно уплывало, как вода из треснувшего сосуда.

Последнее, что я успел подумать, было почти утешением: пока я здесь, в этом вакууме, принимаю на себя весь этот ужас, где-то там, наверху, остальные, возможно, живут свою лучшую жизнь.

А потом я уснул.

Попутчица

За сорок лет за рулем я повидал столько лиц, что давно перестал их запоминать.

Автостопщики не переводились никогда: одни стояли на обочине тихо, почти стыдливо подняв палец, другие махали руками так, будто могли остановить фуру одним отчаянием.

А я ехал дальше.

Мой тягач шел сквозь страну, наматывая на кардан тысячи километров, и в этом движении была вся моя жизнь. Не работа даже — судьба. Когда-то стать дальнобойщиком было моей единственной настоящей мечтой, и я вцепился в нее намертво.

Только время, как водится, сильнее любой воли. Пенсия уже дышала в затылок, тело давно пошло вразнос, а здоровье я оставил по кускам на зимниках, перевалах, стоянках и в прокуренных кабинах.

Спина ныла. Старая дальнобойная болезнь жгла так, что порой хотелось ехать стоя. Живот мешал дышать, легкие сипели, будто набитые золой. По-хорошему, мне давно следовало заглушить двигатель, загнать машину в бокс и тихо стариться где-нибудь за городом, на продавленном кресле, среди яблонь и старых газет.

Но уйти просто так я не мог.

Я сам попросил начальство дать мне последний рейс — не

обычный, а такой, чтобы хватило на всю оставшуюся жизнь.

Через всю страну.

От сырого, низкого неба Петербурга до соленого ветра Владивостока.

Почти десять тысяч километров. Для молодого водителя это был бы ад, для меня — подарок. Последний круг перед тем, как навсегда слезть с баранки.

Директор, надо отдать ему должное, спорить не стал. Он знал, сколько лет я таскал на себе эту работу и сколько денег принес фирме. Сроков не поставил, только махнул рукой:

— Езжай, как хочешь. Хоть за две недели, хоть за месяц. Лишь бы по-человечески простился с дорогой.

А уж я собирался выжать из этого прощания все, что можно.

Не знаю, кто именно на базе распустил язык, но о моем финальном рейсе узнали быстро. Через пару дней со мной связался молодой парень и предложил составить компанию в этом путешествии.

Сначала я хотел отказать. Мне казалось, что такой путь надо пройти одному — под гул мотора, в компании табака, старых мыслей и собственных костей. Но привычка оказалась сильнее. За долгие годы я слишком сроднился с кабиной, где всегда кто-то сидит рядом: случайный пассажир, попутчик, знакомый, женщина, пьяница, болтун, молчун.

Дорога любит голоса.

А потом он назвал сумму.

После этого отказываться было бы просто глупо.

Парню на вид было лет двадцать пять, не больше. Чистый, подтянутый, гладкий — из тех, кто еще не знает, как пахнет дизель в декабре и каково это, когда ночью на пустой трассе лопается колесо.

На груди у него болтался тяжелый винтажный фотоаппарат, за спиной торчал высокий рюкзак, набитый так плотно, будто он собрался не в поездку, а в экспедицию.

Говорил он охотно, но не назойливо: хотел увидеть страну не по поездкам и аэропортам, а по-настоящему — через дороги, стоянки, полузабытые города, мосты, перевалы, реки, сопки. Его тянуло к этой дорожной романтике так же сильно, как когда-то тянуло и меня.

Я слушал его и усмехался про себя.

Дорога быстро снимает с человека лишнюю позолоту.

Но что-то в его восторге мне нравилось.

Встретились мы в начале сентября, на самой окраине Петербурга. Утро было серое, холодноватое, со школьным привкусом: по тротуарам уже тащились дети с помятыми лицами и ранцами, а в воздухе стояла знакомая осенняя сырость.

Я ждал его у фуры, курил трубку и смотрел на часы. Когда он показался вдаль, я сразу заметил, как он на секунду сбился с шага.

Понять его было нетрудно.

На его фоне я выглядел старой, выжатой развалиной. Лысый, грузный, с лицом, изрытым тугими морщинами, с золо-

той коронкой во рту и усами, пропахшими табаком.

Но сильнее всего людей обычно коробил мой левый глаз.

Старое увечье.

Мутный, белесый, будто чужой. Иногда его затягивало гноем, иногда в нем вспыхивала такая боль, что в голове на миг темнело. Врачи в свое время кое-как спасли мне остатки зрения, но красивее от этого он, ясное дело, не стал.

Я выбил трубку о подошву, протянул парню руку и стиснул ее так, что он едва заметно вздрогнул.

— Запрыгивай, малой, — сказал я. — Дорога длинная. Успеем наговориться.

Он полез в кабину, а я пошел к водительской двери — и вдруг застыл.

Взгляд сам собой прилип к переднему колесу. В левом глазу полыхнуло резко, колко, до самого затылка.

И передо мной на одно короткое мгновение всплыло лицо. Женское.

Бледное.

Мокрое.

То самое.

Я зажмурился, тряхнул головой и полез в кабину.

Не время было вспоминать старых призраков.

Двигатель взревел, кабина дрогнула, и от этого знакомого рыка мне сразу стало легче. Я включил передачу, и мой старый железный зверь тяжело пополз прочь от окраины города, беря курс на Москву.

Парень оказался хорошим попутчиком. Не трещал без умолку, не лез в душу, но и в молчании не тух. Мы быстро разговорились.

За первый день успели обсудить все, что обычно обсуждают люди, которым предстоит долго делить одну тесную коробку на колесах: кто откуда, кто что видел, что любит, чего боится, где был, зачем едет.

Он рассказывал про фотографию, про свои мелкие поездки, про желание собрать большой альбом русской дороги — не открытки, а настоящей дороги, с ее пылью, ржавчиной, пустырями и внезапной красотой.

Я рассказывал про жизнь водителя: про гололед, ремонты, стоянки, диспетчеров-идиотов, придорожную жратву, драки, ментов, ночевки в мороз, про то, как за рулем человек постепенно превращается в часть машины.

К Москве добрались к вечеру и решили задержаться на несколько дней. Ему хотелось походить по окраинам, поохотиться за кадрами, снять эти бесконечные промзоны, серые кварталы, мосты и гаражные поля.

Мне было все равно.

Я никуда не спешил. Когда тебе почти пора на покой, спешка вообще теряет смысл.

Пока он целыми днями бегал с камерой, я лениво прожигал время как умел: листал старую книгу с пожелтевшими страницами, ел в дешевых забегаловках всякую дрянь, от которой потом жгло желудок, и понемногу прикладывался к

бутылке, чтобы притушить спину и кашель.

Потом мы снова выехали.

Нижний.

Казань.

Екатеринбург.

Дальше — Урал.

К этому времени основные разговоры уже улеглись, и в кабине появилась та особая тишина, которая бывает только между людьми, успевшими к друг другу притереться.

Но надолго ее не хватило.

— Слушайте, — вдруг сказал парень, подаваясь вперед. — А расскажите что-нибудь... ну, по-настоящему странное. За сорок лет дороги у вас ведь такого должно было быть выше крыши. Самые жуткие случаи. Самые необычные попутчики.

Я не ответил. Только сильнее сжал руль и смотрел на дорогу.

— Ну правда, — не унимался он. — Не может же быть, чтобы за всю жизнь ничего такого не случилось.

Я хмыкнул.

— Случалось. Только чаще это не страшные сказки, а обычная грязь. Грабежи, пьяные, психи, беглые, дураки, ночные пассажирки. Дорога вообще не такая романтическая, как тебе кажется.

Он улыбнулся:

— Тем интереснее.

Пришлось рассказывать.

Я вспоминал, как пару раз меня прижимали к обочине то-нированные машины, из которых выскакивали люди в мас-ках и с ножами. Вспоминал парня в уссурийской тайге, ко-торый вылетел под колеса почти голый и орал, что за ним идет тигр.

Девушку, выброшенную ночью на трассу после нападе-ния.

Малолетних уродов, швырявших камни в лобовое стекло.

Забавного китайца, который говорил по-русски чище, чем половина наших.

Медведя, стоявшего на разделительной полосе с таким ви-дом, будто он тут хозяин, а мы все проезжаем по его двору.

Сбитых собак.

Пустые поселки.

Ночные леса, в которых слишком много звуков и слишком мало смысла.

Парень слушал жадно, иногда щелкал камерой прямо че-рез стекло, а мы тем временем уходили все дальше на восток.

Однажды ночью, уже на уральском тракте, я остановил фуру у самой кромки леса. Попутчик задремал, а мне пона-добилось выйти отлить. Я тихо выбрался из кабины, отошел в кусты и впервые за весь день ощутил настоящую тишину.

Не дорожную, с гулом шин и редкими встречами, а плот-ную, лесную.

Слышно было только сверчков да собственное дыхание.

И вдруг меня как будто холодом провели по спине.

В глубине леса что-то было.

Я сначала подумал, что это игра тени. Присмотрелся — и увидел лицо.

Бледное.

Вытянутое.

С выпученными глазами.

Из-за ствола сосны оно показалось медленно, почти плавно. А волосы — длинные, темные, мокрые — свисали до самой земли.

У меня внутри все оборвалось.

Я зажмурился, как ребенок, твердя себе, что это морок, больной глаз, старая травма, недосып, да что угодно. Но смотреть туда снова не стал. Просто развернулся и почти бегом пошел к фуре.

И уже когда рука легла на дверную ручку, из темноты донесся тихий девичий голос:

— Иди ко мне...

Я влетел в кабину, заперся, сорвал машину с места и еще долго чувствовал, как дрожат руки. Левый глаз ныл так, будто в него снова воткнули раскаленную иглу.

После этого я замкнулся.

Мы продолжали путь, но настроение испортилось окончательно. К Новосибирску погода стала под стать моим мыслям: небо затянуло низкой свинцовой хмарью, воздух сделался липким, тяжелым, будто перед большой грозой.

Мне все время мерещилось, что кто-то идет рядом с нами — вне кабины, по обочине, за лесополосой, где не видно.

Парень, конечно, заметил.

— Вы как? — спросил он однажды. — Выглядите нехорошо.

— Нормально, — буркнул я и тут же зашелся кашлем.

Он помялся, потом спросил:

— А что у вас с глазом?

Я сначала хотел оборвать его покрепче. Но вдруг понял, что больше не хочу молчать.

Эта история пятнадцать лет сидела во мне как гнилой осколок. Ни одной живой душе я не рассказывал ее до конца. А тут — последний рейс, последний попутчик, последний длинный разговор.

Странно было бы унести это с собой в могилу.

Я достал трубку, набил ее табаком, приоткрыл окно и сказал:

— То, что сейчас услышишь, может показаться тебе бредом. Но это было.

Он тут же подобрался и замолчал.

— Случилось это пятнадцать лет назад, на Дальнем Востоке. Я тащил груз из Магаданской области в сторону Якутии. Глушь там такая, что если встанешь, то можешь сразу начинать молиться. Дорога узкая, лес по сторонам стоял какой-то мертвый: голые деревья, скрюченные, будто выжженные, хотя стоял июнь. Дождь лил второй день без остановки,

гроза гремела так, что кабина подрагивала. Радио молчало, встречных не было, заправок тоже.

Я сделал паузу и прикурил трубку.

— Ехал я один, в полной темноте, и думал только о том, как бы дотянуть до следующего жилья. И вдруг в свете фар появилась фигура.

Я едва не снес ее к чертям. Ударил по тормозам так, что подошвы потом ныли. Фуру протащило вперед, потом я сдал назад и остановился рядом.

Это была девушка.

Стояла под дождем, босая, в светлой промокшей одежде, с головой, опущенной на грудь. Волосы висели грязными прядями и полностью закрывали лицо. Она не двигалась. Просто стояла.

Мне бы тогда уехать.

Но я пожалел ее.

Схватил старый плед, накинул на голову куртку, выско-чил под ливень, подошел, крикнул, что она тут замерзнет на-смерть, что надо в кабину, там тепло.

Она ничего не ответила.

Я накинул ей плед на плечи, взял под локоть и повел к фу-ре. Тело у нее было странное — слишком легкое и в то же время какое-то деревянное, жесткое. И шла она тоже стран-но: медленно, неловко, будто не умела ходить как следует.

Я помог ей забраться в кабину, залез сам и сразу налил чаю из термоса.

— Пей, — говорю. — Согреешься. Что случилось? Куда тебе надо?

Она сидела неподвижно. Волосы так и свисали на лицо. Потом очень тихо сказала:

— Есть хочу...

Я засуетился, полез за пакетом.

— Сейчас. Есть пирожки, есть макароны с мясом...

И тут она прошелестела:

— Мясо... Глаза...

Я обернулся к рюкзаку за контейнером, а когда повернулся обратно — она уже была вплотную.

До сих пор не могу подобрать нормальных слов.

Это было не человеческое лицо. Даже не изуродованное. Именно нечеловеческое. Бледная мокрая кожа, выпученные глаза, как будто готовые вывалиться из орбит, рот, раскрывшийся слишком широко, и зубы — острые, неровные, хищные.

С подбородка на плед тянулась слюна. Она смотрела на меня с таким голодом, что в тот момент я сразу понял: перед мной не женщина и не сумасшедшая. Это вообще было не про людей.

Я заорал.

И вырубился.

Очнулся только под утро. В кабине никого. Ни девки, ни пледа. На мне — кровь, вонючая слизь и какая-то дрянь, которой я до сих пор не знаю названия. А левый глаз... его

будто выпили изнутри.

Потом были операции, больницы, швы. Что-то врачи спасли, частичное зрение вернули, но с тех пор этот глаз живет своей отдельной поганой жизнью. Болит. Гноится. Показывает иногда такое, чего лучше бы не видеть.

И с тех пор я время от времени замечаю ее.

На обочине.

В зеркалах.

Во сне.

Я замолчал.

Парень сидел белый, как известка. Даже дышал будто через раз.

— Вы думаете, это было на самом деле? — наконец спросил он.

— Я думаю, — сказал я, — что галлюцинации не оставляют шрамов.

Мы въехали в Новосибирск, потом двинулись дальше: Красноярск, Енисей, Иркутск, Байкал, Бурятия.

Для него эта часть пути стала настоящим праздником. Он снимал все подряд: прозрачную воду, сопки, степные дороги, лица, мосты, дацаны, облака.

И, глядя на его детский, почти жадный восторг, я сам понемногу оттаивал. Казалось, разговор остался где-то позади, между грозами, лесами и болью в глазу.

Мы даже успели сблизиться по-настоящему.

Старый циник и молодой романтик.

Под конец пути договорились, что во Владивостоке зака-тим пир: я выпью хорошего холодного пива у моря, а ему найду какой-нибудь безалкогольный коктейль позаквыри-стее.

Хотелось, чтобы финал вышел достойным.

В Хабаровске мы задержались дольше обычного. Нужно было передохнуть перед последним рывком. Он весь день бегал с камерой, я вечером сидел на балконе гостиницы с бутылкой коньяка и курил, глядя на город.

До конца оставалось всего ничего — каких-то семьсот ки-лометров.

Смешное расстояние по меркам моей жизни.

Утром все затянуло туманом.

Не легкой дымкой — нет. Настоящей серой ватой, в кото-рой пропадали дома, провода, деревья, сама линия дороги. Небо висело низко, плоско, без единого просвета.

Я поднялся затемно, проверил фуру, загнал ее в сервис, чтобы подтянули всякую мелочь. Меньше всего мне хотелось встать на обочине в последний день пути.

Около девяти парень написал, что готов.

Мы выехали.

Чем дальше уходили от Хабаровска, тем гуще становился туман. Фары вязли в молоке, видимость была паршивая. По-путчик быстро задремал на сиденье, а я сидел, вцепившись в руль, и чувствовал, как внутри медленно расползается зна-комый ледяной страх.

Слишком похоже.

Та же пустота вокруг.

Та же изоляция.

То же ощущение, что ты уже не едешь по обычной дороге, а скользишь куда-то мимо мира.

И вдруг прямо под колеса метнулась тень.

Я ударил по тормозам так, что фуру повело вбок. Мы со скрежетом сползли на обочину. Парень проснулся, дернулся, уставился на меня.

— Что случилось?

Я посмотрел в окно.

На обочине стоял олень. Небольшой, молодой. Замер как вкопанный, сам не меньше нашего перепуганный.

— Тьфу ты, — выдохнул я. — Напугал, лесной черт.

Щелкнул затвор.

Парень уже вскинул камеру.

— Это же подарок, — сказал он шепотом, будто боялся спугнуть не зверя, а само чудо. — Я быстро. Пару кадров.

И, не дожидаясь ответа, выскочил из кабины.

— Давай, — бросил я ему вслед. — Только недолго.

Он осторожно пошел через дорогу, обходя оленя по широкой дуге. Тот постоял еще пару секунд, дернулся и исчез в тумане.

А следом исчез и парень.

Сначала я видел силуэт.

Потом только мутное пятно.

Потом ничего.

Я высунулся в окно.

— Эй, малой! Хватит! Возвращайся!

Тишина.

— Слышишь?!

Ни звука.

И тут до меня дошло, что вокруг вообще мертво. Ни одной машины. Ни встречи. Ни гула мотора. Даже ветра нет.

Я уже потянулся к двери, когда туман разорвал крик.

Так не кричат от испуга.

Так кричат, когда человека рвут живьем.

Я застыл.

А потом оно вышло на дорогу.

Сперва показалась длинная, чудовищно вытянутая туша размером с крупного лося. Но двигалось это не как зверь. Оно шло на четырех слишком длинных, переломанных конечностях, вывернутых под невозможными углами. Шея тянулась вперед, как живая кишка. Голова висела низко. Волосы — длинные, темные, сальные — волоклись по асфальту.

В одной лапе тварь тащила моего попутчика за ногу.

Он был еще жив.

Когда существо вышло на середину дороги, оно остановилось и медленно подняло голову.

Я узнал ее сразу.

Тот же рот.

Те же выпученные глаза.

Та же улыбка.

Парень слабо задержался. Хотел, наверное, закричать, но тварь одним плавным движением подняла его выше и перекусила ему лицо.

Я услышал хруст. Увидел, как из развороченной головы хлынула кровь, как на асфальт шлепнулось что-то серое и блестящее. Фотоаппарат выпал из его руки, ударился о камни и рассыпался.

А тварь продолжала жрать.

Потом она принялась сдирать с него кожу длинными мокрыми полосами, заталкивая их в пасть и чавкая так, будто ела с наслаждением.

И все это время не сводила глаз с меня.

Не с добычи.

С меня.

И тогда я понял главное.

Оно не просто вернулось. Оно не случайно попало мне снова. Оно все эти пятнадцать лет не отпускало меня. Следило. Ждало. Игралось. А теперь добралось до конца моего пути и пришло за тем, что считало своим.

Я повернул ключ так резко, что чуть не сломал его, вдавил педаль в пол и рванул с места.

Меня тут же вывернуло прямо на руль и приборную панель. Руки тряслись, перед глазами плыло, в ушах стоял только собственный сиплый вой.

В зеркало я еще успел увидеть, как тварь стоит посреди

дороги над телом парня и смотрит мне вслед, не переставая жевать.

Потом туман сомкнулся.

Не знаю, сколько прошло времени: минуты, десять, час. В какой-то момент реальность щелкнула обратно. На трассе снова появились машины. Встречные фуры, легковушки, обычный дорожный шум.

Туман рассеялся так внезапно, будто его и не было.

В кабине воняло рвотой, табаком и страхом.

Пассажирское сиденье пустовало.

К закату я въехал во Владивосток.

Это должно было быть торжество. Финал. Исполнение мечты. Вместо этого я загнал фуру в точку прибытия, заглушил мотор и долго сидел, не двигаясь, пока остывающий металл тихо пощелкивал где-то подо мной.

В кабине еще держался слабый запах чужой жизни: влажной ткани, фотопленки, дешевого шампуня, молодости.

Той самой молодости, которая осталась где-то там, в тумане.

Потом я выбрался наружу и побрел к заливу.

Вот он, край земли.

Тихий океан.

Конечная точка моей сорокалетней дороги.

Я стоял у воды, смотрел на темнеющий залив и не чувствовал почти ничего. Ни радости. Ни облегчения. Только пустоту, такую глубокую, будто внутри меня вычерпали все

до дна.

Ветер с моря бил в лицо, но я едва его замечал. У меня в голове крутилась только одна мысль:

почему оно оставило меня жить?

Почему не добило тогда, пятнадцать лет назад? Почему забрало глаз, покой, рассудок — но не жизнь? Почему тянуло все это время? Почему дождалось именно этого дня?

Может, я всегда и был для него чем-то вроде последнего блюда.

Тем, кого оставляют напоследок.

Я боялся обернуться. Мне все казалось, что стоит только шевельнуться — и я услышу за спиной влажное, смрадное дыхание, почувствую запах сырой плоти, а боковым зрением увижу, как по камням волочатся длинные мокрые волосы.

Мечта сбылась.

Дорогу я прошел до конца.

Вот только дорога меня так и не отпустила.

Потому что то, что живет в ее тени, давно уже забрало мою душу.

Бетон

— Раз, два, три, четыре, пять. Кто не спрятался — я не виноват.

Голос мальчишки отскочил от бетонных стен и рассыпался по пустому дому.

Дом готовили к сносу с весны. За это время он успел превратиться в остов: без окон, без дверей, с выломанными лестницами, с торчащей арматурой и плитами, наваленными друг на друга так, будто его не разбирали, а ломали в ярости.

Вечером он стоял на пустыре черный, глухой и огромный.

Для взрослых — опасная руина.

Для местных мальчишек — лучшее место на свете.

Родители запрещали сюда ходить.

Поэтому сюда и ходили.

В тот вечер их было пятеро.

Сергея водил. Высокий, тощий, с сорванным голосом и привычкой орать громче всех, даже когда в этом не было нужды. Он стоял у пролома, прикрыв глаза ладонью, и считал нарочно медленно, чтобы остальные успели разбежаться.

Остальные исчезали в сумерках: мелькали подошвы, локти, темные куртки — и сразу растворялись в доме.

Коля задержался на секунду у входа. Ему было одиннадцать. Перед тем как уйти, мать крикнула ему с кухни, чтобы он вернулся к ужину. Он бросил ей привычное:

— Сейчас!

И, как всегда, не собирался приходить вовремя. Он вообще часто говорил «сейчас», будто это слово могло отодвинуть любое наказание, любой разговор, любой вечер.

На пустыре стоял старый кран. В его кабине дремал крановщик — высохший, кашляющий старик с лицом такого же серого цвета, как и все вокруг. Он работал без спешки, с ленивой злостью, будто давно устал и от дома, и от людей, и от самого себя.

Мальчишки его побаивались, но не настолько, чтобы держаться подальше.

— Иду искать! — крикнул Серега и кинулся внутрь.

Один мальчишка полез на третий этаж и спрятался под остатком лестничного марша. Витек, который всегда боялся больше других, сразу ушел к самому краю пустыря, почти за пределы условленной территории. За такое полагалось водить несколько конов подряд, но быть пойманным ему хотелось еще меньше.

Третьего внезапно перехватил старший брат: вышел из переулка, молча схватил за шиворот и поволок домой. Тот вырывался, шипел, пинал камни и не знал, что в этот вечер ему повезло больше всех.

Коля пошел в подвал.

Подвал он любил больше остальных. Там было сыро, темно, по-настоящему страшно — а значит, хорошо. Лучшие места всегда были внизу.

Днем он заметил узкий лаз между фундаментными плитами. Почти правильный квадрат, такой тесный, что взрослый туда бы не пролез. Коля втиснулся боком, протолкнул вперед плечо, потом второе, прополз глубже и замер.

Внутри пахло мокрой землей, цементом и холодом. Над головой низко нависал бетон. По рукам осыпалась мелкая крошка.

Он устроился удобнее и довольно улыбнулся.

Здесь его точно не найдут.

Сначала снаружи еще слышались крики и беготня. Потом звуки стали глуше. Потом почти исчезли.

И почти сразу за пределами дома закашлялся старик в кабине крана.

Двигатель завелся с натугой, будто нехотя. В сумерках вспыхнули две тусклые желтые фары. Металл застонал. Стрела медленно пошла в сторону.

Сергея тем временем пробирался между плитами, зовя остальных больше по привычке, чем для дела:

— Ну где вы? Вылезайте, все равно найду!

Первым он заметил Витьку. Из-за сколотой колонны торчала нога в кроссовке.

— Попался!

Витек вылез недовольный, стряхивая бетонную пыль с рукава.

— Ты за границу ушел, — тут же сказал кто-то сверху. — Это не считается.

— Сам не считается, — огрызнулся Витек, но уже без злости.

Над ними медленно проплыла бетонная плита. Огромная, плоская, тяжелая. В сумеречном небе она казалась еще больше.

— А ну пошли отсюда! — хрипло рявкнул старик из кабины. — Совсем дурные? Убьет к черту!

И почти сразу плита сорвалась.

Никто не успел понять, как именно это произошло. Цепь дернулась, металл звякнул, и в следующую секунду плита рухнула вниз с таким ударом, что земля под ногами дрогнула. Воздух разом наполнился серой пылью.

На третьем этаже кто-то вскрикнул. Мальчишка, который прятался под лестницей, вылетел наружу белый от цемента, с круглыми, обезумевшими глазами.

— Все. Все, хватит. Я домой.

Никто его не остановил.

В доме быстро темнело. То, что еще минуту назад было просто сумерками, стало сплошной чернотой. Играть больше не хотелось.

— Колька! — крикнул Серега в сторону подвала. — Вылезай! Все, конец!

Тишина.

— Эй! Мы уходим!

Они позвали еще несколько раз. Свистнули. Бросили пару камней в темный провал.

Ответа не было.

Витек пожал плечами:

— Да ушел он. Он так уже делал. Испугался и домой свалил.

Это было похоже на правду. Коля и правда иногда исчезал посреди игры. Мог вспомнить про мать, про ремень, про то, что дома давно накрыт стол, и тихо уйти, никому не сказав.

Они еще немного постояли у входа, потом разошлись.

Дальше у каждого началась обычная жизнь: поздний ужин, ругань, ванная, кровать, школа завтра, футбол после уроков.

Ничто не подсказывало им, что один из них остался там, под землей, и уже не сможет позвать никого так, чтобы его услышали.

Телефон зазвонил ночью.

Отец Сереги взял трубку со злостью человека, которого выдернули из сна, но злость сразу пропала. На том конце плакал женский голос.

— Простите... Коля не у вас? Он не пришел домой.

Потом она звонила всем. Одним, другим, третьим. Сонные «нет» звучали одинаково.

К утру начались больницы, дежурные части, знакомые в соседних дворах, морг. К рассвету в ее голосе почти не осталось слез — только торопливая, ломкая надежда, которая уже понимала, что проигрывает.

Утром она пришла к руинам.

Потом пришли соседи.

Потом муж.

Потом полиция.

Они обошли весь дом. Светили фонарями в подвалы, звали Колю по имени, лазили по этажам, заглядывали в дыры между плитами, куда не мог протиснуться взрослый.

Мать ходила среди обломков с таким лицом, будто слышала что-то недоступное другим. Несколько раз она останавливалась, опускалась на колени и прижималась ухом к бетону.

— Он здесь, — сказала она однажды негромко, но так, что все повернулись. — Я знаю, что он здесь.

Ей отвечали сочувствием, потом усталостью, потом раздражением.

Сначала говорили: ушел сам.

Потом: сел к кому-то в машину.

Потом: утонул.

Потом начали выдумывать уже не для правды, а чтобы заполнить пустоту. Чем дольше его не находили, тем охотнее люди верили в любую версию, лишь бы не в самую страшную.

Только мать снова и снова возвращалась к одному:

— Разберите дом.

Она ходила в администрацию, просила, требовала, срывалась на крик. Ей обещали проверить, уточнить, рассмотреть. Потом начали отказывать прямо: это дорого, опасно, нецелесообразно, признаков нахождения ребенка нет.

Признаков не было.

А Коля все это время лежал под плитой.

После удара он сначала не понял, что случилось. Просто исчез свет. Он моргнул, провел рукой перед лицом — ничего.

Попробовал вылезти назад, но не смог. Сверху что-то тяжело прижало пространство, и лаз, который минуту назад казался укрытием, вдруг стал тесным, как ящик.

— Ребята? — позвал он.

Никто не ответил.

Тогда он крикнул громче. Потом начал бить ладонью вверх, в плиту над собой. Потом обеими руками. Потом ногами, насколько мог.

Бетон даже не дрогнул.

Первые часы его спасала уверенность, что сейчас кто-нибудь придет. Сначала друзья. Потом старик. Потом взрослые. Нельзя же было просто взять и забыть, что он здесь.

Но наверху никого не было.

В темноте время сразу сломалось. Не было ни утра, ни вечера, ни даже сна по-настоящему — только отдельные провалы, в которых он на минуту терял себя, а потом опять приходил в ту же самую тьму.

Жажда пришла быстро.

Еще быстрее пришел страх.

Он кричал, пока голос не превратился в сип. Потом просто слушал.

Иногда ему казалось, что над ним ходят.

Иногда действительно ходили.

Однажды он услышал мать.

Узнал сразу — по интонации, по срывающемуся голосу, по тому, как она тянула его имя. Она была совсем близко. В нескольких метрах. Может быть, прямо над ним.

Коля ударил в плиту ладонями, кулаками, локтями, стал кричать так, что в груди резало от боли.

Она не слышала.

Бетон был толще любого крика.

Потом были еще голоса, шаги, свист, какой-то детский смех. На четвертый или пятый день над ним снова играли. Он слышал считалку, топот, чей-то визг.

Наверху продолжалось детство.

Внизу заканчивалось его.

Самым страшным оказалось не то, что темно, не то, что больно, и даже не жажда.

Самым страшным было понимать: помощь проходит рядом и не знает, что он здесь.

Потом страх начал путаться с бредом.

Иногда ему чудилось, что дома открылась дверь и мать зовет ужинать. Иногда — что прямо перед ним появилась полоска света. Иногда — что он все-таки выбрался, просто забыл об этом, просто почему-то снова оказался внутри.

Он просыпался от собственного сиплого стога и не сразу вспоминал, где находится.

И эти несколько секунд перед памятью были единственными, когда ему было не страшно.

Наверху развесили объявления.

С фотографии на столбах и остановках Коля улыбался, шурясь на солнце. Бумага желтела под дождями, высыхала, загибалась по углам.

Люди переставали замечать его лицо через несколько дней — как перестают замечать трещину в стене, если видят ее слишком часто.

Но мать не перестала.

Она худела, чернела под глазами, говорила быстрее и тише, будто берегла силы для одного-единственного слова, которое никто не хотел произносить вслух.

Иногда ей казалось, что она слышит его по ночам.

Иногда — что он стучит.

Муж уговаривал ее спать, соседи — поесть, врачи — успокоиться.

Она отвечала одно и то же:

— Разберите дом.

Дом разобрали только тогда, когда он сам напомнил о себе.

Запах пришел в теплый день — густой и сладковатый. Сначала его почувствовали дети, снова забравшиеся на пустырь. Потом рабочие неподалеку. Потом весь квартал.

Кто-то сказал: собака.

Кто-то — кошка.

Но все уже понимали, что дело не в собаке.

К вечеру возле руин собралась толпа.

Приехали полиция, техника, какие-то люди в форме, потерянные чиновники. Мать стояла у ограждения белая, как извесь, и не сводила глаз с того места, где решили поднимать плиту.

Когда кран натянул цепь, над пустырем стало тихо.

Даже любопытные молчали.

Металл скрипел, плита тяжело отходила от земли, будто сама не хотела открывать то, что скрывала.

Под ней оказалась маленькая и тесная полость.

Там лежал Коля.

Он скорчился на боку, подтянув колени, будто до последнего пытался освободить себе еще немного воздуха, еще немного места, еще немного жизни. Бетон вокруг был исцарапан. На стенах и плите темнели следы маленьких рук.

Кто-то из толпы закрыл лицо ладонью. Кто-то выругался шепотом. Полицейский у края ямы снял фуражку и отвернулся.

Мать смотрела молча.

Потом сделала шаг вперед.

И еще один.

Казалось, она не понимает, что видит. Или, наоборот, понимает слишком хорошо.

А потом из нее вырвался звук — низкий, рваный, нечеловеческий. Не крик даже, а вой, от которого у людей вдоль

ограждения будто разом опустились плечи.

После этого ее увезли.

Потом говорили, что в больнице она почти никого не узнавала. Сидела у окна и повторяла одну и ту же фразу:

— Он же отвечал. Я знаю, что он отвечал.

После той истории город изменился.

Руины снесли до последнего куска. Весь бетон вывезли далеко за окраину и закопали, словно хотели похоронить вместе с ним вину, страх и память.

Пустырь разровняли. О новой стройке говорили недолго, а потом перестали.

Детей туда больше не тянуло.

Да и взрослых тоже.

С того времени в городе будто поселилась какая-то внутренняя сырость. Люди стали раньше звать детей домой. Реже смеялись на улицах. Осторожнее смотрели на недострои, подвалы, траншеи, строительный мусор.

Каждый знал, что бетон может не только держать дом.

Он может молчать.

Иногда в особенно тихие вечера, когда воздух стоит неподвижно и звук разносится дальше обычного, старики говорят, что на том месте слышен стук.

Очень слабый.

Будто кто-то давно уже понял, что не спасут.

И все равно стучит.

Погреб

Пролог

Погреб оживал по расписанию: дважды в день, всего на пару часов, несколько раз в неделю. В остальное время под-земелье стояло мертвым, сырым и холодным, как заброшенная могила.

И все же именно туда с охотой спускались местные старики и старухи. По утрам и в сумерках они собирались у тяжелой железной двери, выстраивались в очередь и вежливо желали друг другу доброго дня, будто шли не в промозглый подвал, а в клуб по интересам.

Вниз вела длинная бетонная лестница. Ступени будто глотали звук шагов. Внизу коридор резко уходил влево и упирался в еще одну дверь — тяжелую, с ржавым, глухим лязгом. Сразу за ней, на известковой стене, торчали три выключателя. Каждый зажигал свой ряд ламп.

Дальше тянулись узкие коридоры, одинаковые, как катакомбы, а по обеим сторонам теснились каморки с решетками и перекошенными дверцами. Там жители нашего двора держали банки с компотами, огурцы, соленья, картошку — все, что должно было пережить зиму в темноте, сырости и холоде.

Родители частенько посылали меня туда за очередной банкой к ужину. Я упирался, ныл, придумывал отговорки, лишь бы не идти. Место внушало мне не просто страх — почти суеверный ужас.

Стоило оказаться перед темным проемом или у очередного поворота, как воображение начинало работать против меня. Мне чудилось, что за углом кто-то стоит. Что в пустой камерке кто-то дышит. Что в самом дальнем ряду обязательно есть дверь, за которой хранят не банки и картошку, а нечто совсем другое.

Разумом я понимал: чего бояться в обычном погребе? Банок? Картошки? Квашеной капусты?

Но детский страх не подчиняется логике. Он не спрашивает, насколько нелепо выглядит со стороны. Он просто сжимает сердце и шепчет:

не ходи туда.

Наверное, это очень древнее чувство — страх перед тем, что скрыто под землей. Перед холодом, темнотой, теснотой. Перед местом, где не должно быть живого тепла.

Я слишком рано полез в ужасы: страшные картинки из старого интернета, крипипасты, дешевые фильмы, книги, которые мне читать было еще рано. Так и вырос — с мозгом, который первым делом выискивает угрозу.

Теперь я думаю, что, возможно, в детстве боялся этого места не случайно.

Часть первая

Прошло больше двадцати лет.

Детские страхи должны были рассыпаться в пыль, но почему-то не рассыпались. Мне почти тридцать. Я давно жил в большом городе, работал в крупной компании, носил дорогие костюмы и выглядел человеком, у которого все под контролем.

Со стороны моя жизнь казалась выстроенной правильно: хорошая работа, красивая жена, чистая квартира, планы на будущее. Я и сам почти поверил, что так оно и есть.

Друзей к этому времени почти не осталось. Те, кого когда-то называл близкими, растворились сами собой — как это обычно и бывает. Остались редкие переписки, случайные лайки да смутное чувство, что с кем-то когда-то было весело, но уже непонятно зачем.

В какой-то момент я просто устал от бессмысленных ночных посиделок, от шума, от людей, с которыми кроме прошлого ничего не связывало. Захотелось тишины. Нормальной жизни. Семьи.

С Катей у нас все складывалось почти идеально. Мы жили спокойно, без надрыва, без громких сцен. Совместный быт работал как хорошо настроенный механизм, и в этом было что-то успокаивающее.

Иногда, конечно, мне казалось, что такая правильность

слишком уж гладкая, будто жизнь затаилась перед чем-то. Но эти мысли приходили редко. Обычно я отмахивался от них так же легко, как от детских воспоминаний о холодном подвале.

И все же в самые тихие минуты мне казалось, что та старая железная дверь никуда не делась. Что она все так же стоит в глубине двора, ждет, ржавеет и помнит меня лучше, чем я сам помню себя.

Идиллия рухнула в одну ночь.

Меня разбудил телефон. Я вслепую зашарил рукой по тумбочке, нащупал холодный корпус и, прищурившись, взглянул на экран.

Незнакомый номер.

Просто ряд цифр.

Обычно я такие звонки сбрасывал не глядя, но в ту ночь почему-то ответил.

Рядом заворочалась Катя.

— Кто там? — сонно спросила она.

— Не знаю, — пробормотал я. — Сейчас выясню.

Я прижал телефон к уху.

— Алло?

— Здорово, старый. Узнал?

Голос был спокойный. Слишком спокойный для четырех утра.

— Простите, кто это?

В трубке хмыкнули.

— Ты что, совсем? Это Кирюха.

Я резко сел на кровати.

— Ты с ума сошел? Ты время видел?

Образ сразу всплыл в памяти: соседский приятель детства. Кирилл. Мы гоняли мяч во дворе, дрались с пацанами из соседнего квартала, потом как-то разошлись, и все. Последний раз я говорил с ним, кажется, лет десять назад.

— Сорян, — без всякого раскаяния ответил он. — Забыл, что у вас там разница.

— Что случилось-то?

Несколько секунд он молчал. Потом заговорил совсем другим тоном — глухим, ровным, лишенным всякого намека на шутку:

— Тебе надо приехать домой. Срочно.

— Зачем?

— На пир.

Я не сразу понял, что услышал.

— На какой еще пир?

— Весь двор будет. Мяса хватит всем. И тебе оставим.

У меня внутри все похолодело.

— Ты пьяный?

— Через неделю, — продолжил он тем же безжизненным голосом. — Мы будем пировать. Приезжай. Хочу попробовать на вкус всю твою семью.

В комнате стало так тихо, что я услышал дыхание Кати.

— Ты больной? — выкрикнул я.

Катя поднялась на локте и уставилась на меня расширенными глазами.

— Ты не понял, — сказал Кирилл. — Я тебя зову по-хорошему.

— Завязывай, идиот.

— Мы тебя ждем.

Связь оборвалась.

Я еще несколько секунд сидел, прижимая телефон к уху, хотя в нем уже шли короткие гудки.

— Что он сказал? — спросила Катя.

Я бросил телефон на одеяло.

— Псих. Просто псих. Решил пошутить.

Я перезвонил. Потом еще. И еще.

Абонент был недоступен.

Катя обняла меня за плечи.

— Может, набрался? Или с кем-то поспорил? Забей.

Я кивнул, хотя не мог отделаться от ощущения, что голос в трубке был слишком трезвым. Слишком спокойным. Пьяные так не говорят. Так говорят люди, которые давно уже все решили.

Под утро мы снова уснули, но сон был тяжелый и рваный.

На следующий день я вспомнил о звонке за завтраком. Катя жарила блины, на кухне пахло кофе и шоколадом. Все выглядело настолько обычным, что ночной разговор почти сошел бы за дурной сон, если бы не одно: при словах «мясо» и «пир» меня вдруг накрыла такая тошнота, что я отложил

вилку.

— Надо маме позвонить, — сказал я.

Из родных в том городе у меня осталась только она. Жила все там же, в той самой квартире, окна которой выходили во двор, к погребу.

Я набрал номер.

Длинные гудки.

Никто не ответил.

Попробовал еще раз. И еще.

Потом написал. Сообщения остались непрочитанными.

К вечеру я звонил ей уже без остановки.

Катя тоже. С ее телефона — тот же результат. Кириллу — недоступен.

Ночью я проснулся и снова начал звонить. Потом днем. Потом на следующий день. Потом еще.

За трое суток мама не ответила ни разу.

Я пытался найти кого-нибудь из старых знакомых, но все связи давно сгнили. Номера были утеряны, страницы заброшены, люди разъехались. Город, в котором прошло мое детство, словно закрылся передо мной.

На четвертые сутки стало ясно: сидеть и ждать больше нельзя.

Я очень хотел верить, что все это идиотский розыгрыш, затянувшийся до безобразия. Хотел даже представить, как врежу Кириллу при встрече. Но тревога за мать перевешивала злость.

Она всегда отвечала.

Всегда.

Прощание с Катей вышло коротким. Я крепко обнял ее в прихожей, пообещал, что быстро все выясню и вернусь. Она смотрела на меня с такой тревогой, что на секунду захотелось остаться. Захлопнуть дверь, выкинуть телефон, сделать вид, что никакого звонка не было.

Но я ушел.

Дальше все слилось: лестница, метро, автобус, аэропорт, самолет, такси. Чем ближе я подъезжал к старому району, тем сильнее росло чувство, что я еду не к матери, а назад, в место, откуда когда-то правильно сделал, что уехал.

Часть вторая

Родной подъезд встретил меня сыростью и запахом старой штукатурки. Я поднялся на нужный этаж и сразу понял: что-то не так.

Дверь в мамину квартиру была заперта.

Изнутри — ни звука.

Я долго стучал. Сначала спокойно, потом все сильнее, потом начал колотить кулаком, звать мать по имени, почти кричать.

Тишина.

За дверью было так пусто, будто квартира вымерла.

На шум выскочила соседка из квартиры напротив.

Я узнал тетю Наташу не сразу. Она постарела, высохла, глаза стали колючими и какими-то бешеными.

— Я сейчас полицию вызову! — закричала она. — Ты кто такой?

— Теть Наташ, это я. Сережа. Сосед.

Она всмотрелась в меня, и на лице ее не появилось ни малейшей радости узнавания.

Только отвращение.

Настоящее, густое, как плесень.

— А, это ты, — сказала она и сплюнула мне под ноги. — Пошел вон.

И захлопнула дверь.

Я так и остался стоять, не сразу поверив в происходящее.

В детстве наши семьи общались. Она угощала меня конфетами, мама занимала у нее соль, они вместе болтали на кухне по праздникам. А теперь она смотрела на меня так, будто я приполз из канализации.

Я постучал к ней снова, уже тише.

— Теть Наташ, пожалуйста. Скажите, где мама. Она не отвечает уже несколько дней.

— Убирайся! — взвизгнули из-за двери. — Пока цел!

После этого она замолчала окончательно.

Я стоял в коридоре и чувствовал, как под ребрами медленно разрастается настоящий страх. Не тревога, не раздражение, а именно страх — тихий, плотный, как черная вода.

Сначала я хотел вызвать слесаря, вскрыть дверь, плюнуть на все. Но мысль о Кирилле не давала покоя. Он был последним, кто говорил со мной оттуда. Последним, кто знал, что я приеду.

Я вышел из подъезда.

Двор был тем же самым и совсем чужим. Те же дома, тот же пустырь за гаражами, те же окна, из которых когда-то кричали матери, зовя детей домой. В памяти всплыли летние вечера, пыльный мяч, запах нагретого асфальта, крики пацанов.

Вспомнилось, как мама высовывалась из окна кухни и звала меня ужинать. Тогда это казалось чем-то вечным, незбылемым. Как будто этот двор не может стать чужим. Не может

стать страшным.

Я поднял голову к окнам нашей квартиры.

И замер.

За тюлем что-то двигалось.

Сначала я решил, что это сквозняк. Но штора колыхалась слишком странно — будто повторяла плавные, медленные движения тела. Чьего-то тела. Белая ткань натягивалась на лицо, на плечи, на голову, словно внутри нее кто-то стоял и смотрел вниз.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.